

**С**

прашивается: какое отношение к запискам агронома имеет король, да еще семнадцатый?

Вношу ясность.

Прохор семнадцатый — это и есть тот самый Прохор Палыч Самоваров, который еще до Петра Кузьмича Шурова был председателем колхоза; что же касается королевского титула, то это люди ему прилепили такое — беру только готовое.

Общий вид Прохора Палыча, конечно, резко выделяется среди всего населения колхоза. С этого и начну.

Комплекция плотная, рост выше среднего, животик изрядно толст, ноги поставлены довольно широко и прочно; голова большая, лоб узковат, но не так уж узок; нос узловатый, широкий и тупой, слегка приплюснутый, с синим отливом; нижняя губа приблизительно в два с половиной раза толще верхней, но не так уж толста, чтобы мешала; две глубокие морщины — просто жировые складки, а не то чтобы следы когтей жизни; глаза на таком лице надо бы ожидать большими, а они, наоборот, полу-

чились маленькими, сидят глубоко, как глазок картофелины и цвета неопределенного, будто подернуты не то пылью, не то марью. Прохор Палыч не брюнет, не блондин, но, однако, и не полный шатен.

Одевается он с явным подражанием работникам районного масштаба: темная суконная гимнастерка с широким воротом — зимой и летом, широкий кожаный желтый пояс, ярко начищенные хромовые высокие сапоги и широкие синие галифе. Голову на плотной шее Прохор Палыч держит прямо и, проходя, ни на кого не смотрит (если поблизости нет кого-нибудь из работников района).

Вот он какой представительный!

Знакомы мы с ним уже порядочное время, довольно хорошо знаем друг друга, давно я хочу о нем написать, но все-таки каждый раз, как возьмешь перо, думаешь: что о нем писать?

Писать о том, что у него огромный клетчатый носовой платок, в который свободно можно завернуть хорошего петуха и в который он сморкается трубным звуком, так что телята шарахаются во все стороны, — это же неинтересно.

Сказать о нем, что он блудлив, нельзя, так как у него было только три жены: первая после развода вскоре умерла, вторая живет с двумя детьми где-то не то во Владивостоке, не то во Владимире, а с третьей он живет и сейчас (пока еще не регистрировался и, наверно, не думает).

Ну что еще? Сказать, чтобы он не делал ошибок, тоже нельзя. Ошибки он делает и всегда их признает рьяно, признает, даже если этих ошибок нет, а начальство подумало, что ошибки есть. Иной день даже ему в голову приходит такое: «А какую бы мне такую ошибку отмочить, чтобы и взыскания не было, и весь район заговорил?» Но для признания своих ошибок он всегда оставляет, так сказать, резервы. Вот он, например, как мы уже заметили, не регистрируется с последней женой — это тоже резерв! А ну-ка да скажет высшее начальство: «разложение» или что-нибудь вроде того? Тогда можно признать свою ошибку и скрепя сердце вернуться к прежней жене; так что в конце концов получается — жена у него однаединственная, а эта теперешняя — так, ошибка.

Или, скажем, написать, что он много водки пьет, — клевета, оскорбление личности! Ничего подобного! Он никогда больше пол-литра в один присест не выпивает. А разве, спрошу я вас, нет людей, которые выпивают больше? Есть. И здесь Прохор Палыч прав, говоря, что он норму знает. Ну не без этого, конечно, праздник там большой или свадьба в колхозе случится, тогда выпьет вдвое больше или около того; в таком случае в конце процедуры у него появляется непонятное головокружение, душевные переживания всякие, даже тоска какая-то, и он плачет. Прохор Палыч прав, говоря, что когда он пьян, то становится смирным настолько, что и курицу не обидит.

Еще о чем же? Разве о характере? Можно. Характер у него таков: с одной стороны прямой и твердый, а с другой — мягкий и податливый, как воск. Внутри же ничего не видно; тонкое дело — заглянуть внутрь человека! Может быть, со временем и выяснится, что там, внутри, а пока буду писать о том, что видимо как факт и что подтверждает сам Прохор Палыч.

Например, как значит «прямой и твердый с одной стороны»? Это значит, если он что-либо надумал, а кто-то из людей ниже его по должности перечит, то Прохор Палыч найдет способ доказать твердость характера и прямооту. Быками не своротишь — найдет! Собственно, прямоота проявляется чаще всего под конец собеседования, и он не моргнет глазом сказать возражающему: «К черту! Не выйдет потвоему!»

Теперь: «с другой стороны — мягкий». Тут надо примером. Допустим, заехал из района в колхоз председатель райисполкома, или заведующий райзо, или кто-то — упаси боже! — выше, тогда Прохор Палыч, заходя в кладовую, делает сле-

дующее: сначала складывает колечком большой и указательный пальцы и произносит мягко, обращаясь к кладовщику: «Ко-ко — двадцать» (яиц, значит, двадцать). Затем покрутит пальцами около лба, завивая рожки, и говорит еще ласковее, со вздохом: «Бебе — четыре» (это означает — четыре килограмма баранины). Таким же шифром он передает мед (жужжит), ветчину («хрю-хрю») и, наконец, щелчком слегка бьет себя по горлу сбоку, подняв шею, и изрекает: «Эх-эх-хе! Маленькие мы люди. Ничего не попишешь: сама жизнь того требует».

В общем, о своем характере он так и говорит: «Я если залезу на точку зрения и оттуда убеждаюсь, тогда я человек твердый и прямой, как штык; а если руководителя уважить или угостить, то я человек мягкий и податливый: я могу, говорю, покойно видеть начальника, если он не ест и не пьет, аж самому тошно... А тут... — и он легонько постучит кулаком по груди. — Тут! Эх, товарищи, товарищи!» Просто даже интересно становится: а что же все-таки у него внутри? Я не говорю там о кишках, о печенках, о ложечке, под которой у него болит после выпивки, о катаре, который, по словам Прохора Палыча, есть в желудке каждого человека и который, собственно, и урчит-то всегда, — это все вещи известные и местоположение их ясно, — я говорю о характере: снаружи — человек как человек, а вот внутри — загадка.

И тем более, уж если бы он не читал совсем ничего, тогда можно было бы подумать о плесени, о наслоениях прошлого, о пережитках капитализма внутри и тому подобном... Но он же все-таки читает! Ежедневно, каждое утро читает отрывной календарь. Иногда чтение вызывает у него неожиданные эмоции: сидит на кровати, еще не обувшись, оторвет листок календаря, прочтает о восходе, заходе солнца и долготе дня, прочтает о восходе луны, подумает, подумает и скажет: «Эх вы, календарщики, календарщики! Знали бы вы нашу нагрузку! Не тем занимаетесь, товарищи!..» Но какие предложения конкретно он вносит, остается неясным. Думаю, что речь идет об изменении долготы дня, а неопределенность замечания в адрес календарщиков объясняется, надо полагать, тем, что у него все-таки возникают сомнения: зависит ли это мероприятие от них? Прохор Палыч, конечно, не дурак!..

Правда, насчет астрономии у него в голове довольно большая туманность, что объясняется очень сильной нагрузкой; по этой же причине и сведения о химии походят на колбу с бесцветным газом: а черт же ее знает, есть там что, в этой колбе, или нет! Может быть, там и действительно ничего нет, а один обман природы! Недаром же Прохор Палыч говорит про всех землеустроителей: «Знаю я этих астрономов! Мошенники!» И об агрономах отзывается презрительным языком: «Ох, уж эти мне химики: то не так, это не так! Вот они мне где! — И постучит ладошкой по заливку. — Спрашивается: за что зарплату получают? Нет, пусть бы он сел у меня в правлении да писал или диаграммы какие-нибудь чертил, а я бы посмотрел, чем он занимается, а то уйдет в поле на весь день — и до свидания! Химики!»

И тут, конечно, Прохор Палыч прав, когда говорит, что насчет теории ему требуется только вспомнить кое-что, но пока сильно некогда.

Больше того. Он определенно имеет склонность к философскому мышлению. Право, редкому человеку удастся из одного-единственного слова построить длинное предложение с глубокой мыслью, а он может, да еще как может! Как-то вытащили его чуть не за шиворот в кружок заниматься. Там-то он и сказал такое умное, что облетело весь район. Когда у него спросили, как он усвоил материал и что думает по этому вопросу, он сказал: «План — это, товарищи, план. План до тех пор план, пока он план, но как только он перестает быть планом, он уже не план. Да. А наши планы были планы, есть планы и будут планы. Точнее, не может быть плана, если он не план...» Но тут его вежливо перебил руководитель кружка и, вытирая со лба пот, выступивший как-то сразу, сказал: «Мне теперь все ясно. Садитесь!»

Видите! Даже руководителю ясно стало все, так умеет сказать Прохор Палыч.

Нет, Прохор Палыч положительно интересный человек! Во всякий вопрос вносит он свое. Взять, к примеру, оценку своих знакомых. Он разделяет их на четыре группы: на беспартийных, кандидатов партии, членов партии и... кандидатов из партии. При этом он иногда скажет: «Вперед не забегай, сзади не отставай и в середине не толпись!» Но тут-то Прохор Палыч и допустил большую ошибку: не туда причислил себя и думал совсем не так, как оно получилось. Правда, у него всего только три выговора с предупреждением (или четыре? Нет, три; четвертый — это не выговор, а одно только предупреждение в развернутом решении), но чисто-сердечное раскаяние всегда и у всех вызывало сочувствие, которое заливало туманом его светлый разум, не давало возможности разобраться в том, куда везет его кривая. Он даже иногда, бывало, скажет: «О! Наш председатель райисполкома — человек! С этим не пропадешь!» Но... ошибся. Ой, как ошибся! Ошибся потому, что не учел, что и районные работники сменяются.

И уж если нечего писать о Прохоре Палыче, как сказано выше, то я подумал: «А дай-ка напишу насчет этой самой роковой ошибки жизни!» Однако ясно, что человек приходит к ошибке не сразу, хотя он ее и признает, поэтому и написать коротко, одним словом, не удастся, тем более, мы еще совсем не знаем, что у него там внутри.

План моих записок таков:

А. Какими кривыми путями привела кривая Прохора Палыча до председателя колхоза и насколько кривы были кривые пути его.

Б. Как он руководил колхозом, и что из того получилось, и получилось ли вообще что-нибудь.

Когда-то давно Прохор Палыч работал в мотороремонтной мастерской. Работал хорошо, старательно, заработки были хорошие. За старательность и силу его уважали. Линия жизни у него была прямая, а сам Прохор Палыч был тогда совсем не таким: и нос не такой, и синева на лице не было, так как норма подпития была совсем другая, не та, что сейчас.

Но случилось однажды так. Вызвали его и говорят:

«Работник ты хороший. Пора к руководству привыкать: пойдешь заведующим складом «Утильсырья». Никак не подберем туда кандидатуру». Прохор Палыч возражал, очень сильно возражал, но он многого тогда еще не знал о товарище Недошлепкине. А товарищ Недошлепкин был тогда председателем райисполкома. Если он, Недошлепкин, сказал: «Я думаю», то это все должны понимать: «Так будет»; если он сказал: «Я полагаю», то это значило: «Будет только так»; если же сказал: «Мне кажется», то надо было понимать: «Так должно быть, так и будет». Только много спустя Прохор Палыч приспособился к такой манере руководителя района изъясняться, а тогда еще не понимал ее по неопытности и простоте своей. Товарищ Недошлепкин не дослушал возражений и сказал:

— Я, Недошлепкин, думаю, полагаю, и мне кажется, что ты, Самоваров, пойдешь в утильсырье.

Ах, если бы вдумался тогда Прохор Палыч в эти слова! Да где там вдуматься, когда председатель повторил твердо, с пристуком ладонью по столу:

— Я высказался. Принимай работу!

Не понял тогда Прохор Палыч, что было сказано. Через несколько лет Прохор Палыч с улыбкой вспоминал: «Какой же я был тогда дурак! Не понимал самых простых вещей. Вот что значит неопытность в руководстве!» Понемногу он перенял тон и приемы Недошлепкина, появилась смелость, уверенность в своих силах и так далее, но это много после, а в то время он принял склад «Утильсырья» и приступил к работе. И пошло!

Трое его подручных были люди опытные, деловые, вороватые. Делали все честно. Сначала сверх зарплаты Прохор Палыч почему-то получал немного денег, а потом — больше. Поработал год. Вдруг откуда-то, не то из области, не то из центра, следствие: в тюках шерстяного тряпья, в середине, заложены отходы мешков, пакли, кострики, а вместо цветного металла где-то кому-то всучили какой-то черный. Кто туда положил не такое тряпье, Прохор Палыч не знал, но сколько денег он положил себе в карман, он все же знал — всучили-таки, жулики! — и сознавал свою ошибку. И только хотел было изучить утильдело, как его сняли. И снова он у Недошлепкина. Тот сказал: «Я думаю...» Прохор Палыч понял его уже с одного слова и мигом очутился на складе «Заготзерна». Дело новое, надо подучиться, расспросить, вникнуть в теорию: все-таки хлеб, а не утиль. Но Прохор Палыч был уже куда смелее и в первый же день по совету Недошлепкина проверил лабораторию. Походил, походил по ней, посмотрел в зерновую пурку одним глазом, как в микроскоп, потрогал влагомер, надавил пальцем на технические весы (отчего лаборантка даже вскрикнула, испугавшись за их целость) и сказал:

— Работу перестрой!

По личному горькому опыту на утильскладе он знал, что с подчиненными надо строже, иначе влипнешь, что подчиненный — не совсем полноценный человек (убеждения приходили постепенно, но довольно прочно). Кладовщиков он собрал под навесом. Сам сел на ящик, а им велел стоять и сказал:

— Я, Самоваров, много не говорю. Коротко: если замечу, что кто-нибудь насыплет ржи в пшеницу или овса в кукурузу, — прощайся с родными: тюрьма! Мне так кажется.

Помнил Прохор Палыч, как подкузьмили его подчиненные на утиль-складе, и предупреждал ошибку. Опыт расширялся и углублялся медленно, но все-таки расширялся.

Проработал он год.

И кто же знает, откуда беде взяться! Недостаток обнаружился в девяносто тонн зерна. Какого зерна — толком сразу и не поймешь, но только недостаток обнаружился. Кто брал зерно, когда брали, куда девали — Прохор Палыч, истинное слово, не знал. Он, правда, знал, что конюх привозил ему откуда-то муку-первач, но ведь не девяносто же тонн! Еще вспомнил, что в какой-то не то ведомости, не то отдельном списке он расписывался в получении денег и что бухгалтер говорил насчет этого списка: «Мы его со временем чик-чик — и нету!» А черт же его знал, как это «чик-чик»! Но только следствие было, кое-кого судили, а Прохора Палыча защитил Недошлепкин. Написал отличную характеристику, напомнил, что Самоваров только начинает руководить, что имеет мало опыта, что жулики его обвели вокруг пальца, — много написал Недошлепкин, много беседовал с прокурором, звонил куда-то, хлопотал, и все сошло.

Но ведь и оставить после этого у руководства нельзя. Сняли. Походил, походил Прохор Палыч вокруг районных организаций и учреждений и пошел к своему покровителю. Приходит. Спрашивает его Недошлепкин:

— Ну как?

— Да так, — ответил Самоваров неопределенно.

— А все-таки?

— Так себе!

— Значит, ничего?

— Да как сказать...

Недошлепкин, как видно, изучал собеседника и мыслил про себя: «Не ошибся ли я в нем?»

— А точнее?

— Обыкновенно! — вздохнул Прохор Палыч, ожидая слов «я думаю» или, что еще лучше, «мне кажется».

— Как так — обыкновенно? — недоумевал председатель. А Прохор Палыч видит, что тот в недоумении, и осмелел.

— Убил бы!

— Кого? — Недошлепкин привстал в полном испуге, так как был не очень храбр.

— Эх! — замотал головой по-бычьи Прохор Палыч. — Убил бы!

— Кого? — уже шепотом произнес председатель и стал за спинку кресла.

Прохор Палыч молча понурил голову. Начальник продолжал испуганно смотреть на него и не мог, конечно, в таком случае сказать ни «я думаю», ни «я полагаю», ни, тем более, «мне кажется». Так получилось, что Прохор Палыч ушел в себя, а Недошлепкин, наоборот, вышел из себя.

И третий раз спросил глава района, еле выдавив из себя:

— Кого?

Прохор Палыч поднял голову, еще раз покрутил ею, ударил себя в грудь (тихонько, слегка!) и, наконец, с надрывом выкрикнул:

— Себя! Ошибку допустил!

И сразу после этого все вошло в норму: Прохор Палыч вышел из себя, а Недошлепкин ушел в себя — сел в кресло, поднял острый носик вверх, поправил громадные роговые очки и нахмурил брови. Покатая лысина заблестела матово-желтым цветом. Он застучал пальцем по столу, продолжая дальше изучать Самоварова. Глаза у Недошлепкина были настолько узкими, к тому же заплывшими, что создавалось впечатление, будто он ничего не видит даже около своего носа. Но он видел, изучал, задавал наводящие вопросы:

— Ну так как же?

— Да так.

— А все-таки?

— Да как сказать...

— Значит, признаешь?

— Признаю.

— Каешься?

— Каюсь!

— Ну так что ж ты скажешь?

Прохор Палыч совсем осмелел и выпалил, жестоко бия себя в грудь:

— Ошибка моя вот тут! — и сделал совсем жалобное лицо. Недошлепкин почувствовался — высморкался, плюнул тихонько и так же тихо произнес:

— Вот черт возьми!

Прохор Палыч тоже высморкался, но трубно, громко. Конечно, начальник уже был готов произнести чарующие фразы, которые начинаются с буквы «я», но Прохор-то Палыч еще не понимал, что тот готов. Лишь позже он научился догадываться о течении мыслей начальства, но тогда еще многого не понимал.

И вот, наконец, Недошлепкин говорит:

— Что же тебе сказать?

А Прохор Палыч изрекает, уже оправившись от сморкания:

— Я думал, товарищ Недошлепкин, что вы полагаете и вам кажется.

— Да, братец ты мой! — восхищенно воскликнул тот. — Таких пронизательных людей я первый раз встречаю. Вот это — да! Самородок! Кусок народной мысли, как говорил какой-то писатель или историк. Да ты знаешь, какая перед тобой линия открывается? Да ты сам не понимаешь, кем ты можешь быть!

И пошел, и пошел! Хвалил, хвалил, а напоследок напутствовал:

— Держись за меня! Со мной кривая вывезет. Помогу, поддержку, научу.

И стал после этой беседы Прохор Палыч торговать керосином в магазине райпотребсоюза. Но не это важно, а важно то, что Прохор Палыч уже понял — точно понял! — что такое признание ошибок, к а к их признавать, когда признавать и перед кем признавать; важно еще, что после этой беседы он понял себя: кто он есть и кем он может быть, то есть оценил себя так же высоко, как оценил его Недошлепкин. И пошел после этого расти и расти! Вот он уже пробует произносить речи, — его поддерживают, выдвигают по рекомендации Недошлепкина. Вот он уже критикует небольших начальников, от которых ему ни жарко, ни холодно, критикует громко, смело, со всей прямоотой своего нового характера. Пошел человек в гору!..

На керосине он, правда, прогорел (не то недостача, не то излишек, но больше года и здесь не работал), однако стал директором райтопа и числился уже в районном активе.

Наконец к переменам должностей и профессий он так привык, что считал это вполне нормальным для актива, считал, что настоящий-то актив и перебрасывается «для укрепления»: укрепил в одном месте — крой на следующее, укрепляй еще; не укрепил — признавай ошибку, плачь, сморкайся и валяй дальше — укрепляй в другом месте! Для вытирания носа он завел большой, темного окраса клетчатый платок, о котором мы уже заметили, что он якобы интереса не представляет. Но это только кажется. Действительно, большой платок неинтересен, когда он есть, а вот когда его нет... Попробуйте с полным чувством признать четырнадцатый раз двенадцатую ошибку без платка. Не получится!

На каких только должностях не был Прохор Палыч! И в «Сельхозснабе», и на кирпичном заводе, и в лесничестве, и в «Ковлоесе», и по дорожному делу, и по заготовкам сена и соломы, и по яично-птичным делам, и завхозом в МТС... Накопил громадный опыт! Наконец после двух выговоров с предупреждением в его послужном списке значилось: «Председатель артели жестянщиков». А Прохору Палычу перевалило за сорок пять.

И до этого ему учиться совсем не надо было в связи с частой переменой мест, а тут — каждый поймет — жестянщики: кружки, ведра, половники... Чепуха! Опыт руководства большой — Прохор Палыч принялся смело укреплять отстающую артель. Это было по счету шестнадцатое место за пятнадцать лет руководящей работы в районе. С таким багажом укрепить артель — раз плюнуть!

И он приступил.

## 2

Первым делом он обнаружил полное отсутствие кабинета для председателя артели и задал вопрос:

— Как же вы могли так работать, товарищи? Это же полный развал! Мне кажется, работу надо перестроить.

Счетовод, маленький, щупленький старичок с пушком на лысой голове, осмелился спросить вежливо:

— А какой же кабинет в такой маленькой комнатке, как наша контора?

Прохор Палыч ответил:

— Я думаю, что так необдуманно думать нельзя.

Все было ясно.

В артели было двенадцать человек мастеров разного возраста, тринадцатый — счетовод, четырнадцатый — председатель. Делала артель большей частью кружки, которые иногда протекали. Требовалось укрепить артель, чтобы кружки были полноценными. Задача Прохора Палыча, собственно говоря, и заключалась в том, чтобы кружки не протекали, но он уже имел размах, умел вникать, он уже думал, полагал, ему казалось.

Целый месяц половина членов артели во главе со счетоводом работала на «стройкабе», а половина — на кружках. (Объясню новое слово в русском языке — Прохор Палыч их сотворил немало — стройкаб — стройка кабинета.) Конечно, кружок сразу стало недостаточно, и домохозяйки начали протестовать: дескать, и так протекают, да еще и недостаток. Прохор Палыч, чтобы успокоить всех, вывесил объявление: «Происходит преобразование производства на новые технические рельсы увеличенного плана». Успокоились, стали ждать.

Тем временем кабинет закончили: он занял две трети маленькой комнатки, а одна треть осталась счетоводу со всеми членами артели, которым уже ни покурить, ни газетку почитать стало негде. Но не в этом дело. Какой кабинет выстроили! Блестящий кабинет! Блестящий потому, что стены и потолок обшили белой жестью, на письменный стол, сверху, положили белую жесть; над креслом Прохора Палыча, чуть выше головы, соорудили полку во всю длину стены, обшили ее латунию и поставили в один ряд предметы производства артели настоящего времени и будущего, причем экспонаты были вдвое больше нормального размера: кружка, ведро, половник, таз умывальный, таз стиральный, умывальник, две ложки, совершенно различной конструкции, зерновой совок, керосиновая лейка и... чего-чего только не было на этой полке! Любому смертному, вошедшему в кабинет, становилось ясно, что Прохор Палыч уже вник в сущность производства и освоил детали такового достаточно глубоко.

Вторым шагом по прошествии двух месяцев со дня вступления было ознакомление с массой. Вызывал Прохор Палыч по одному человеку, толпиться в передней запретил, курить велел по норме, обсуждать что-либо шепотом, чтобы не мешать работе. И начал прием. Вопросы он задавал каждому примерно одни и те же:

— Фамилия?

— Мехов.

— Лет?

— Сорок девять.

— Как?

— Точно так.

— Молодец! Отвечаешь правильно. Та-ак... Воруешь?

— Да что вы, Прохор Палыч! Дети у меня есть взрослые, а вы... такое... У нас и красть-то нечего: ну украду я кружку — куда ее денешь?

— Во-первых, я тебе не Прохор Палыч, а товарищ Самоваров. Во-вторых, не притворяйся: знаю я вас — все воры! Развалили артель, сукины дети, а теперь... Ишь ты!

Мехов попятился к двери, разводя руками.

— Перестроишься?

— Да чего перестраиваться-то? Давайте материал, делать будем. А то вот два месяца сидим без дела, а у нас семьи... Я за эти месяца и полставки не выработал.

— Во-во-во! Я и хотел сказать: лодыри, бездельники!

— Да я же не про то!

— Хватит! Я думаю, я полагаю, что ты перестроишься! Следующий!

За перегородкой все было слышно, и артельщики очень быстренько смекнули, что к чему. Особенно быстро сообразил Вася-слесарь, мальчишка лет семнадцати, молодой, а ушлый.

— Давайте, — говорит, — отвечать одно и то же, а я пойду последним!

Переглянулись жестянщики: так и так. И в кабинете началось. Почти все, как один, повторяли одно и то же, с небольшими отступлениями по ходу дела. Прохор Палыч к концу дня устал, вспотел и, развалившись в кресле, задавал вопросы уже нехотя, подумывая о том, не перенести ли ознакомление с массой на следующий



четверг, но вот вошел Вася-слесарь, юркий узколицый парень с прищуренными, смеющимися глазками, — и объявил:

— Я последний.

— Фамилия?

— Щелчков! — отчеканил Вася так, что жесьть на стенах отозвалась зловещим звяком.

— Щелчков! Ну, брат, и фамилия! Лет?

— Семнадцать.

— Ишь ты, молодой! Ну, ты-то не воруешь.

— Ворую, товарищ Самоваров!

— Как, как? О! Самокритика молодежи! Ну, молодец!

— Ворую, говорю! — выкрикивал Вася, как молодой петушок.

— Что воруешь?

— Жесьть ворую, латунь ворую.

— От брешет, свистун, так брешет! Этот не пропадет, нет! С кем же ты воруешь?

— С вами, товарищ Самоваров! — ответил Вася так же громко и тем же тоном, как и начал.

— Что-о-о? — Прохор Палыч встал.

— С вами ворую, — повторил Вася и сел, проявив высшую степень невежливости. — Сто листов жести на кабинет из кладовой кто принес? Я, Щелчков. Кому? Вам, Самоварову. Латунь кто принес? Я. Кому? Вам. Куда списали жесьть? На кружки. Где кружки? Нету. Квартальный план выполнили на двадцать процентов, значит, годовой план уже сорвали.

Прохор Палыч сел. Потом встал. Потом еще раз сел. И еще раз встал.

— Как ты смеешь, щенок! — Он схватил с полки умывальный таз и так стукнул им об стол, что весь кабинет занял жестяной жалостью. — Мы такое загнем, что два квартальных плана в два месяца выполним. Раз плюнуть! Не твоего ума дело! Я думаю, что...

Тут Вася прыснул со смеху, зажал фуражкой рот и нагнулся, содрогаясь от беззвучного хохота.

— Что тебе смешно? Что? Что, спрашиваю? (За перегородкой — сдержанный, но дружный смех.) Кто там мешает работать? — загремел Прохор Палыч и снова обратился к Васе:

— Ты думаешь, кто я есть? Отвечай!

— Там, — смеялся Вася, — там написано! — И указал пальцем на дверь.

После этих слов за перегородкой затопотали и, давя друг друга, вывалились со смехом на улицу. Выскочил бомбой и Вася. Прохор Палыч поставил таз на место и, потный, в возбуждении, вышел медленно за дверь. Осмотрел стены, пронзил счетовода взглядом и ничего не увидел. Но вот он повернулся к двери кабинета, чтобы войти обратно, и... увидел! Трудно выразить словами состояние Прохора Палыча: это было сплошное переживание от пяток и до носа, ибо пятки сразу зачесались, а нос потребовал неотложно сморкания. И он высморкался дважды подряд и без передыху. А на новой табличке — «Председатель артели тов. Самоваров» — красовалось добавление: «король жестянщиков».

Вот откуда и появилась королевский титул у Прохора Палыча.

Сам я, правда, при этом не присутствовал, но мне так подробно все рассказывал Вася, так усердно дополняли его Мехов и другие, что я не могу не посочувствовать Прохору Палычу. Не буду описывать терзания его души, не буду останавливаться на том, как Прохор Палыч по полночи не спал двое суток подряд, не буду вдаваться в подробности колебаний психики и переливания тоски через край — это очень трудно. Но Недошлепкин настойчиво, очень настойчиво реко-

мендовал Прохору Палычу приступить к самокритике и ни под каким видом не наказывать Васю, а если возможно, прижать его впоследствии, чтобы понимал твердость характера. При этом он сделал для Прохора Палыча назидание жестом: ногтем большого пальца надавил на стол так, как (простите за натурализм!) давят некоторых насекомых, и добавил:

— Понимай — для самокритики момент наступил, а для того самого, — и он снова надавил пальцем, — еще нет. Подождать надо...

Э, да что там учить Прохора Палыча, когда он сам уже не меньше знает!

На общем собрании артели Прохор Палыч сказал:

— Критика ваша, товарищи, дошла до середины. Дошла! Всем нам надо перестроиться, углубить производство и расширить во все стороны. Все, как один, — в одну точку! Кто отступит — не позволю! Я признаю критику, но не допущу нарушения дисциплины. Переходим, товарищи, с кружки на ложку новой конструкции — модель «Л-2». Потребуется напряжение. Я полагаю, что трудовой подъем будет.

В городе заговорили: «Король жестянщиков разворачивается».

Так и прилепился к Прохору Палычу этот титул.

А тем временем в артели дела пошли по новым рельсам. Трое поехали в командировку за формовочной глиной, трое работали над ящиками-станками для отливки ложек, трое вели экспериментальные работы, имея под руками пять килограммов алюминия, и переливали алюминий из пустого в порожнее, а остальные трое переоборудовали горн и меха. Сам Прохор Палыч выехал в Москву на поиски алюминия, пробыв там два месяца, прислал оттуда двадцать четыре телеграммы и получил двадцать пять. В артели вскоре уже была закончена перестройка, и все ждали председателя. Наконец прибыл Прохор Палыч и привез только двадцать килограммов алюминия.

— Ну что ж, — сказал Прохор Палыч, — начнем, а там видно будет.

И начали. Сначала выходило плохо: ложки получались ломкие, с драными краями. Наконец все-таки наладили дело: ложка модели «Л-2» пошла в ход. Но... запас алюминия иссяк.

Кончался год. Ложки делать перестали из-за нехватки материала, а к кружкам не приспособлено производство, перестраивать надо. Так и не получилось в том году ни кружки, ни ложки.

Ну, а дальше что? Дальше Прохор Палыч пятнадцатый раз раскаялся, получил третий выговор и остался без работы. Секретарь райкома вызвал Недошлепкина и говорит:

— Кажется, Самоваров никудышный руководитель — неуч и зазнайка. Он стоит на пороге из партии, случайный человек.

Но нет! Недошлепкин — уже постаревший, облысевший, уже беззубый — защитил, не дал в обиду. Не исключили. Три месяца или, может быть, четыре Прохор Палыч был без работы. Несколько раз заходил к Недошлепкину, ожидал, как в прежние счастливые годы, волшебных слов, но тот указывал пальцем на райком и говорил шопотом:

— Не велит.

— Так, значит, как же? — спрашивал Прохор Палыч.

— Да так...

— А все-таки как?

— Так себе.

— Значит, ничего?

— Да как сказать...

— А что «как сказать»?

— Обыкновенно! — вздыхал начальник. И каждый раз на этом кончалось. Казалось, попал в тушик Прохор Палыч.

Но внезапно что-то случилось с секретарем райкома по семейным обстоятельствам, и он уехал из района. Ведь и с ним все может случиться, как с любым человеком. Это ведь в романах только секретари райкомов не страдают, не любят, не хохочут, а только знают руководят. А в жизни они такие же люди, и с ними все может случиться: может и жена заболеть, и сам даже может заболеть, и даже — даю честное слово! — может и влюбиться. Конечно, мне скажут: «Не может быть, чтобы секретарь райкома да влюбился! Не бывает!» Вот и поговори с ними!.. Бывает, товарищи, что там греха таить! Бывает и так: напишают полный роман либо железа, либо дров, либо машин всяких, а читатель ходит-бродит, бедняга, меж всего этого и ищет людей: не читатель, а искатель какой-то получается. Не спорю, иной читатель, конечно, с первого прочтения находить тропки, делает зарубки для приметы, чтобы не заблудиться обратным ходом; потом вернется назад, прочитает еще другой, третий раз — смотришь, разберется, что к чему.

А насчет секретарей райкомов повторяю: все с ними бывает, как с любым человеком, а не только так, как в романах.

Убедил я или не убедил — как хотите! — но только старый секретарь райкома уехал, а новый приехал. Был он такой: в коричневом костюме и при галстуке (обратите внимание: без черной гимнастерки и без желтого широкого пояса), росту обыкновенного, среднего, русый, круглолицый, веселый, любит в городки поиграть и в шахматки сыграть; ребятишки у него есть (двое), и мальчишка его забегает к нему прямо в райком, посмотрит, нет ли заседания, и сообщает: «Папа, мы чужа поймали».

Одним словом, Попов Иван Иванович приехал.

Недошлепкин — к нему. Так, мол, и так: в колхозе «Новая жизнь» шестнадцатый по счету председатель оказался не того, заменять надо. Для укрепления.

Поехал Иван Иванович туда раз, поехал два, посмотрел, посмотрел: правда, заменять надо. И говорит Недошлепкину:

— И ваша вина есть в том, что в колхозах такая свистопляска с председателями: что ни год, то новый председатель. Большая вина!

— Признаю, — соглашается Недошлепкин. — Каюсь! Ляпсус. Все силы брошу на исправление ошибки. Все, что от меня лично, приму... Действительно, ляпсус... Но без председателя колхоза не может быть колхоза, ибо колхоз до тех пор колхоз, пока он колхоз, но как только он перестает быть колхозом, он уже не колхоз. (Подобный способ мышления — явное влияние его ученика Прохора Палыча. Ясно.)

Задумался Иван Иванович: видно, не верит Недошлепкину. Но что поделать, если кадров района еще не знаешь, а требуется председатель колхоза! Конечно, приходится обязательно советоваться пока с Недошлепкиным. А тот разгадал мысль секретаря и говорит:

— Моя ошибка тяжела... Но мы можем быстро выправить: есть у нас толковый, опытный товарищ, повезет! Правда, у него в артели жестянщиков — не того, но причина все же в неплановом снабжении артелей, и вопрос не нам решить — надо ставить гораздо выше, так как в районном масштабе алюминия нет, а ложка «Л-2» требует алюминия чистого, как слеза грудного младенца.

— Кто же это такой? — спрашивает Иван Иванович.

— Товарищ Самоваров, — сообщает Недошлепкин. Так на первых порах Иван Иванович и допустил ошибку.

Вызывают Прохора Палыча в райком.

— Говорите честно, — обращается к нему Иван Иванович, — справитесь ли вы с работой председателя колхоза? Работа трудная и ответственная.

Прохор Палыч думает и сморкается: ждет, когда будут произнесены заветные

слова, единственные, которые он сразу понимал. Нет этих слов! А вопрос висит в воздухе!

— Ну так как же? — повторяет секретарь. И Прохор Палыч, руководствуясь чутьем, развитым многолетним опытом, проделывает следующее: смотрит вниз и в сторону, глубоко-глубоко задумавшись, вздыхает, несмело поднимает глаза на секретаря и говорит тоже задумчиво:

— Товарищ секретарь райкома! Слишком мне тяжело сознавать, что я имею три выговора... (В этом месте он чуть-чуть взвыл.) Я понимаю, что четвертый выговор столкнет меня с кривой. Со всей ответственностью беру на себя колхоз и, я думаю, выправлю его, и вправлю ему линию в передовые...

Иван Иванович, не ведая дипломатии, сказал:

— Мне кажется, что чистосердечное признание своего положения прибавит вам силы.

Все! Для Прохора Палыча было все-все понятно.

А Иван Иванович сомневался, что-то его скребло внутри, и он подумал: «Кадры! Не могу я за две недели узнать кадры».

Недошлепки так разукрасил Прохора Палыча на общем собрании колхоза, так расхвалил, такие гимны пропел его талантам, а Никишка Болтушок такую речь закатил, что даже шапку потерял и ее растоптали в лепешку, — так они оба воспевали Прохора Палыча, что того и в колхоз приняли, а потом и председателем выбрали.

Так Прохор Палыч занял свой семнадцатый пост и стал семнадцатым председателем в колхозе, а отсюда и полный титул пошел: «Прохор семнадцатый, король жестянщиков».

### 3

Теперь уж я видел Прохора Палыча почти ежедневно. Мы все ближе и ближе сходились с ним и, наконец, сошлись настолько близко, что он однажды мне сказал:

— Фу, ты! Обязательно ему надо культивировать пар за двенадцать-пятнадцать дней до сева! Небось и после закультивируем — денька за два-три.

Я возражал, горячился, целую лекцию об озимых ему прочитал, книгу академика Якушкина ему совал в руки.

— На, прочти!

— Лично я не видал твоего Якушкина. Я, Самоваров, думаю — за два-три дня.

Я не сдавался.

— Не позволю! (Это я-то так позволил себе сказать Прохору Палычу, и откуда смелость взялась!)

— Что-о-о? — закричал он. — Пошел к черту, химик!

— Не оскорбляйте!

А он отвечает:

— Характер у меня такой прямой. Как штык. Помогать — вас никого нету, а раздражать человека у руководства вы можете.

— Да я же и хочу помочь вам понять агротехнику?

— Пошел бы ты с такой помощью! У меня свиньи дохнуть начали, а тебе вот выложи: за пятнадцать дней! Тьфу!

— Вы ж, — говорю, — не понимаете агротехники! Нельзя так!

Прохор Палыч отвернулся, не желая продолжать разговор, и куда-то в сторону буркнул:

— Столько, сколько ты знаешь, я давно забыл больше.

Что должен делать после этого агроном? Конечно, ехать в район.

Запрягли Ерша в линейку, приезжаю к Недошлепкину. Так, мол, и так, говорю, ничего не понимает, оскорбляет непотребными словами... Угробим осенний сев...

— А вы добейтесь своего, — отвечает Недошлепкин, — и закультивируйте, если действительно надо! Если же можно обождать дня два-три, то уступите по-человечески! У Самоварова мало опыта в руководстве колхозом, ему надо помогать. Правда, прямота у него в характере есть, за словом в карман не полезет. Постарайтесь помириться с ним, он человек сходчивый и самокритичный.

— Так он же меня слушать не хочет!

— Постарайтесь сделать так, будто между вами ничего не было: общее колхозное дело дороже личных отношений. Мы, безусловно, должны забыть все личное.

Ехал я обратно тихонько, шажком и пробовал пробрать себя самокритикой до корней, но, как ни бился, даже Ерша останавливал несколько раз, ничего не получилось. Наверно, все-таки не освоил еще самокритику на всю глубину. Тут бы и надо мне Недошлепкину сказать: «Признаю ошибку!», потом приехать в колхоз и — к Прохору Палычу: «Признаю», и руку ему подать: «На! Держи! Навечно! Пошли мировую выпьем по двести!» А вот не умею. Но зря! Именно тогда бы меня подняли на щит и говорили бы: «С таким работать можно — сходчивый и самокритичный агрономишка».

Пар все-таки закультивировали: воровским путем, ночью.

А еще раньше, весной, получилось даже чище. Приезжаю в бригаду, а там сеют кормовую свеклу. Не там сеют, где намечено производственным планом, — не по глубокой зяби, а по весновспашке.

— Кто позволил? — спрашиваю я.

— Председатель приказал, — отвечает бригадир Пшеничкин. — Целый час спорил с ним. Тьфу!

Смотрим, Прохор Палыч мчится к нам: жеребец — в лентах, тарантас — в ветках. Подъезжает и сразу грозно:

— Почему простой механизма допущен?

— Я запретил, — говорю.

— Тебя убеждать надо или не надо?

— Говорите!

— Как ты думаешь, — снисходительным тоном начал он, — ходить женщинам полоть лучше за три километра от села или за полкилометра? Тут, — потопал он ногой по земле, — тут — полкилометра, а зябь — за три километра. В организации труда ты что-нибудь смыслишь или нет?

Я стараюсь объяснить ему поспокойней:

— По весновспашке свеклы не будет. Не бывает никогда хорошей свеклы по весновспашке нигде, а у нас, в засушливом районе, никакой свеклы на этом месте не будет. Не взойдет она, и полоть-то нечего будет.

Пробовал растолковать, как устроено семя свеклы, говорил, что всходы ее очень слабые, рассказывал, сколько воды требуется для семени свеклы, но Прохор Палыч до конца не дослушал, подошел к трактористу и сказал:

— Я думаю, сеять будешь.

— Нет, — вмешался я, — сейчас надо ехать на зябь и посеять там.

— Ка-ак! — вскричал Прохор Палыч. — Подменять руководство? Кто позволит? Приказываю!.. А из тебя, — обратился он к трактористу, — щепки сделаю! А тебя, — повернулся он к бригадиру, — как бог черепаху! А... — и он круто повернул ко мне весь корпус.

— Меня, — говорю, — ни боже мой! Я химик!

— Хуже! — воскликнул он, ударив себя обеими руками по галифе. — Астроном! Мошенник!

Так я понял, что астрономы гораздо хуже химиков.

И зачем, собственно, я все это записываю? По плану обещал описать, как Прохор Палыч руководил колхозом, а пишу черт знает что! Хотя нет: постепенное сближение и содружество Прохора Палыча с агрономией тоже заслуживает внимания. В общем, и агроном с бригадирами к нему приспособились: они просто обманывали его для пользы дела.

Меня спросят: «А свекла как же? Где посеяли?» Отвечаю: по зяби посеяли. И очень просто. Подхожу я к нему и говорю:

— Характер у вас сильный... Сказал — крышка!

— Я так: надумал — аминь! — и улыбается. Отошел, значит, нутром.

— Езжай, — говорю я трактористу, а бригадиру подмаргиваю, так как тот всем видом протестует против продолжения сева на этом месте.

Прохор Палыч благополучно отбывает и скрывается из виду, а мы... переезжаем на зябь.

Заметил он это не скоро, через месяц, и сказал:

— Ну и ловкач! Ну и мошенник! За этим смотри да смотри!

Так пришло к Прохору Палычу убеждение, что все агрономы — мошенники, все бригадиры — жулики, а он один-единственный руководит и ему никто не помогает. Трудно все-таки быть председателем колхоза!

Но все это произошло несколько спустя после начала руководства Самоварова колхозом. Это отступление сделано потому, что вопросы агрономии превыше всего, с них и надо начинать. Дальнейшее описание жизни Прохора Палыча в колхозе пойдет уже по порядку.

Еще в первые дни пребывания на посту председателя Прохор Палыч собрал бригадиров и изрек:

— По вечерам нарядов давать не буду.

— А как же нам быть? — спросили все сразу.

— Утром — наряд, вечерами и ночами — заседания. Что я, Самоваров, не знаю разве, как руководят районные работники? Не первый год! С кого пример брать? С вас, что ли?

Попервоначалу стали возражать, перечить, да еще вздумали доказывать. Потом и бригадиры, конечно, вошли в понятие, а тогда, представьте себе, упирались. Прохор Палыч для доказательства твердости характера даже выразаться стал всякими черными словами, а в заключение обмяк и завершил:

— Соображение-то у вас есть или нет? Как можно с вечера давать наряд? А вдруг да умрет кто за ночь — допустим, тетка какая, — а на нее наряд дали: что это будет? Срыв, полная анархия. Я думаю и полагаю, что наряд давать будем только утром.

Когда же бригадиры разошлись, он говорит мне:

— Вот они, работнички! Видал? С первых шагов на подрыв пошли. Ну, я перестрою — выбью из них дурь. Не первый год на руководящей! С этими, верно, на руководишь... — Он будто задумался, а потом добавил: — Менять надо, всех менять! Вот маленько разберусь и поменяю. А эти, видать, жулики и воры. Видал? Тот, чубатый, все улыбается, а тот все волком смотрит.

Ну, раз уж сам Прохор Палыч заговорил на первых порах о бригадирах, то и нам следует с ними поближе познакомиться, иначе описание жизни председателя не будет ясным.

Бригадиров в колхозе трое: Пшеничкин Алексей Антонович, Катков Митрофан Андреевич и Платонов Яков Васильевич. Все они очень старательные, хозяйственные, хорошие руководители бригад, почти непьющие, но характеры у них разные. Пшеничкин живет так, будто радуется вечно и полон радужных надежд; Платонов — человек критического ума и иногда говорит: «Надо изживать недо-

статки, а не только говорить о хорошем»; Катков — это человек быстрый и в работе, и в мыслях: он в уме может моментально такие цифры помножить, что диву даешься!

И возраста все трое разного: Пшеничкину — двадцать семь, Платонову — шестьдесят, а Каткову — сорок два.

Пшеничкин — белокурый, кудрявый, голубоглазый, фуражка — набок, чуб над виском, и всегда верхом в седле: с самого раннего утра и до позднего вечера, а в уборку — и ночью.

Платонов, несмотря на почтенный возраст, ни бороды, ни усов не носит, всегда чисто выбрит, волосы, совсем седые, зачесывает назад, ездит только на дрожках.

У Каткова — лоб высокий, нос тонкий, лицо симпатичное, веселое, с шустрými черными глазами. Этот никаких средств передвижения, кроме мотоцикла, не признает и признавать не желает.

И вот смотрите! Разные люди, совсем-совсем разные, во всем разные, а как они одинаково сильно любят свое дело, сколько работают! Летом по семнадцать-восемнадцать часов в сутки в труде.

Где-то вы теперь, мои дорогие друзья-бригадиры? Радостно мне услышать ранним утром, перед восходом солнца, песню Алеши Пшеничкина; больно вспомнить, как он плакал над просом, которое побил град; приятно вспомнить, как его голубые глаза внимательно смотрели на меня на зимних занятиях по агротехнике! С благодарностью помню и наши беседы на отдыхе, и мудрость Якова Васильевича Платонова. Вихрем был промчался теперь с Митрофаном Андреевичем Катковым по шляху на его мотоцикле, а оставившись у комбайна, вместе помогли бы молодому комбайнеру пустить в ход машину. Все знает этот Катков! Умница!

Урчат ли тракторы, грохочут ли комбайны «Сталинцы», мчится ли юркий самоходный «С-4», слизывая на ходу пшеницу, ворочает ли плуг пласты чернозема, гремит ли молотилка, полют ли посевы, сеют ли, веют ли — везде, везде они, бригадиры. Мои верные соратники, с какой охотой написал бы я сейчас и о вас, но — что поделаешь! — пока приходится писать о Прохоре Палыче. Это очень-очень нужно!

А дни у Прохора Палыча пошли беспокойные.

Утром он встал, прочитал листок календаря, оделся и пошел в правление давать наряд.

— Все в сборе? — спрашивает он, чинно усаживаясь за стол.

— Все, — отвечают бригадиры хором.

— Та-ак. С чего начнем?

— Да у вас небось план имеется, — улыбается Катков.

— Имеется: все в поле, как одна душа! Кто нарушит трудовую дисциплину — дух вон!

— А мне надо подвезти корм лошадям: три подводы, — говорит Пшеничкин.

— Мне надо в лес за дубками для крытого тока: две подводы, — заявляет Платонов.

— У меня в поле сегодня пойдет только десять человек, а остальные — на огород, — подает голос Катков.

— Так. Я, Самоваров, выслушал и говорю: борьба за урожай — первое дело. Меня, Самоварова, избрали выправить, а не распылять. Все в поле!

И началось! Спорить, кричать, доказывать! Пшеничкин, красный, как вареный рак, кричал, что лошади подохнут, что он отвечать не будет, что лошадь — не мотоцикл и не автомобиль, в нее бензину не нальешь, что ей требуется не бензин, а рацион зоотехники и что он вообще не понимает, как понимать непонятное. Катков скороговоркой резал, что огород — это деньги колхоза, что все надо делать планово.

Платонов молчал и думал.

Прохор Палыч слушал, слушал все это, да ка-ак стукнет кулаком по столу:

— Всем в поле! Во всех справочниках и календарях написано — борьба за урожай, борьба за хлеб и тому подобно. А вы с капустой, с дубками, с лошадьми своими лезете! На подрыв пошли! Не позволю!

Платонов молчал и думал. Потом все трое сразу вышли. Алеша Пшеничкин с досады настегивал себя по сапогу плетью. Катков выскочил пробкой и стукнул дверью, а Платонов вышел спокойно, будто ничего особенного не произошло.

Время шло. Уже одиннадцатый час дня, а народ слонялся по двору вокруг правления, многие сели на травку, курили и балагурили; волы и лошади стояли запряженными, ездовые сидели, свесив ноги и греясь на солнышке, как заправские лентяи. Никогда такого не было в колхозе «Новая жизнь», а тут получилось. Вот вышли бригадиры из правления, а народ — к ним: что ж, мол, это такое? Какой наряд?

— Не знаю, — сказал Пшеничкин.

— Черт его знает! — сказал Катков.

— Все в поле! — сказал Платонов, увидев выходящего Прохора Палыча.

Раздались возгласы:

— А чего всей бригаде делать в поле? Капуста пропадет.

— Убирать скоро, а в нашей бригаде крытый ток не закончен. В лес надо.

Прохор Палыч все это слышал. Он сразу понял, откуда ветер дует, и сказал бригадирам:

— Вот полюбуйтесь на вашу дисциплину! Двенадцатый час, а у вас люди лодырничают. Развалили колхоз, проходимцы вы этикие! Да еще и массу подстроили на меня, слова-то говорят ваши! Слышь: о капусточке да о дубочках. Это-то мы учтем!

Тем временем, пока народ волновался, Платонов сказал двум другим бригадирам:

— Зайдемте-ка в конюшню да посмотрим, что там сделать: пора, наверно, мазать ее.

Прохор Палыч упер руки в бока, расставил галифе во всю ширину крыльца и решил наблюдать, будет ли выполнен его наряд, а бригадиры вошли в конюшню. Там Платонов и говорит:

— Алеша! Ты садись на меринка — и за село: встречай и направляй своих куда следует; а ты, Митрофан Андреевич, садись на мотоцикл — и на огород: встречай своих и моим скажешь, а я догоню помаленьку на дрожках. Но из села выходить всем только в поле. Понятно?

— Есть! — ответили оба и повеселели.

А Катков, проходя мимо председателя, успокоил его:

— Все будет исполнено в точности по вашему наряду!

Прохор Палыч был очень доволен, что он повернул руль руководства на полный оборот, и, возвратившись, сказал счетоводу:

— Ничего-о! Повернем еще круче! А тебе вот что скажу: ты мне приготовь сведения к вечеру.

— Какие сведения?

— Сколько коров, лошадей, свиней, птицы разной и прочих животных; и при том на малюсенькой бумажечке, чтоб на ладонь улеглась. Понял? Случаем, если доклад — все под рукой. — И Прохор Палыч накрыл ладонью воображаемую бумажку.

Счетовод был человек пожилой, лет пятидесяти пяти, в очках с тоненьким блестящим ободком, полный, но очень живой и подвижной и весьма сообразительный, как и все колхозные счетоводы. Зовут его Степан Петрович. Он пережил уже



шестнадцать председателей и толк в них знал очень хорошо. Спорить с Прохором Пальчем он не стал, а заверил:

— Будет исполнено в точности!

— Во! Это по-моему! Люблю!

Микроскопическими цифрами исписал Степан Петрович листок из блокнота и, передавая его Прохору Пальчу, почему-то улыбался.

— Тоже, наверно, жук! Чего ухмыльнулся?

— Никак нет, не жук. Херувимов Степан Петрович.

— То-то, что Херувимов... М-м-да... Фамилия — того... — Один раз, правда, удалось Прохору Пальчу отчитаться по животноводству с этой шпаргалкой, но потом засыпался: о чем ни скажет — всего, оказывается, на самом деле больше, а в бумажке, что под рукой, — меньше. А дело в том, что свиньи поросились, коровы телились, лошади жеребились — всего прибавлялось. Задумался он: как же наладить учет? Степан Петрович советует искренне:

— Каждый раз надо брать у меня новые данные и проверять в натуре.

Хоть и подозрительная фамилия у этого счетовода, но Прохор Пальч попробовал делать так. Все-таки счетовод, а не агроном какой-нибудь.

Однажды вызывают Прохора Пальча с докладом по животноводству. Выписал ему Степан Петрович все, как полагается, и пошел он проверять в натуре. Приходит на свиарник.

— Сколько свиней?

— Сто одна.

— Так. Правильно. А сколько поросят?

— Двести.

— Бреешь! У меня записано сто восемьдесят два.

— Так ночью две свиноматки опоросились.

— Фу, черт! И надо им пороситься тут, в самое это время, будь они неладны!

Пошел в телятник.

— Сколько телят?

— Семьдесят.

— Бреешь! У меня — семьдесят два. Почему, спрашиваю, меньше на два головонья? Зарезали телков, мошеники!

— Да нет же, нет, — взмолилась телятница. — Двух бычков-то сдали, а документа нет целую неделю, вот они и не списаны. Степан Петрович без документа не спишет. И списать невозможно: должны числиться, мы понимаем.

— Документ, документ! — перебил Прохор Пальч. — Я вам покажу документ! А ну, давай считать в натуре!

Накинули перегородку поперек телятника, как при ревизии, и стали выпускать во вторую половину по одному.

— Раз, — считает Прохор Пальч, — два, три... десять, пятнадцать... Кажись, один проскочил... Двадцать... Будь ты неладно, в носу зачесалось. Не к добру... Двадцать пять... Воздух тут — того... В носу свербит...

Он вынул платок и высморкался по своему обычаю: ка-ак ахнет во всю трубу! Что тут сотворилось! Телята шарахнулись, сбили перегородку, взревели испуганно, истошно — и все перемешались.

Теленок — животное нервное, хотя он и дитя коровы, теленок совершенно глуп и ровным счетом ничего не понимает насчет руководства, но Прохор Пальч обиделся и, плюнув, выразился так:

— Чтоб вы попередохли, губошлепы! Телятся, телятся без удержу, никакого стабилу нет, да еще и не сморкнись. Подумаешь! Дермо!

И ушел.

Но надо же вникнуть в животноводство, в самую глубину? Надо. Пришел он в

правление, сел в кресло и задумался: «Обязательно им надо пороситься, жеребиться, тельиться... куриться!» Тут что-то такое мелькнуло в голове Прохора Палыча, какая-то не то мысль, не то блоха. «Что же такое у меня мелькнуло? — Думает. — Вот мелькнуло и нет... Никогда в голове ничего такого не мелькало, а тут вдруг — на тебе. Уж не помрачение ли у меня?.. А мелькнуло все-таки... Ага! Догадался! Слово неудобное: куриться! — И дальше думает: — Как это куры: курятся или как? Оптичиваются? Нет. Петушатся? Не слыхал. Этого слова при людях говорить не надо!»

В самом деле, черт их знает, как они — куры, когда Прохор Палыч сроду с ними не имел никакого дела! И вообще в сельском хозяйстве чепуха какая-то! Другое дело какой-нибудь завод или мастерская — там так: есть станок — есть, есть сто станков — есть. Крышка, эти уж отелиться не могут! Мысли, конечно, тяжелые, но правильные. Но как найти выход? Ужели ж самому за всем и следить, проверять, ходить по этим телятницам, поросятницам, курятницам?

Однако выход он нашел: при всяких отчетах и докладах просто прибавлял поголовье на несколько десятков: «Небось отелились! А не отелились, так отелятся, — эта чертова скотина, она такая». Так что с этим вопросом Прохор Палыч вышел из положения, как и подобает человеку, имеющему опыт руководства.

Но дни наступали все беспокойнее и беспокойнее. Что и говорить — это не у жестянщиков! Тому подпиши, тому выпиши, тот с заявлением лезет, этому усадьбу дай, тот аван просит, а тот лезет: «Прими телка под контрактацию», будто своих мало. Там на свиней болезни напала, там, говорят, какие-то землекопы где-то что-то едят, тут трактористы донимают, агрономы не дают покоя, суслеустроители... Все завертелось. Где там в поле попасть, когда тут пропадешь! И Прохор Палыч уже подписывал на ходу, не глядя, что подписывает, совал заявления в карман и отвечал: «Сделаем — я сказал»; но заявления накапливались пачками. А тут — еще новости! — зоотехники навалились и давай, и давай точить — то за свиней, то за овец! Дошло до того, что Прохор Палыч одной рукой обедает, а другой подписывает и все-таки ничего не успевает сделать, хотя руль повернул на полный оборот. Сказать, чтобы он растерялся, — нельзя: вид у него не такой. Трудно, очень трудно! Не будь водки — пропал бы человек ни за грош! Но он дает себе отдых: норму свою принимает, и все идет нормально и в полеводстве, и в животноводстве, несмотря на большую нагрузку.

Зато есть у него точка опоры в руководстве. Есть! Четыре раза в неделю он созывает расширенные заседания правления, заслушивает отчеты о работе за прошедшие полтора дня и выносит развернутые решения. В этом он незаменим, и все нити руководства у него в руках.

Для примера возьмем одно заседание — очень важное заседание, если говорить без шуток.

Пять часов дня. Близится вечер. Бригады бросили поле и прискакали в правление по срочному вызову через нарочного. Прохор Палыч дает распоряжение:

— Расширенное заседание назначаю в семь! Так и объявите! Чтобы все были ровно в девять! Немедленно сообщить всему руководству животноводства, строительства и подсобных предприятий: каждый с докладом. Все!

И пошли бригады по дворам уже пешим ходом. В тот вечер я сидел у Евсеича на диванчике и почитывал. Сам Евсеич плел вентерь и подпевал тихонько, а Петя писал что-то за своим столом и не давал покоя старику:

— Как, говоришь, дедушка? «Богом данной мне властью» и...

— Вот пристал! Ну, «богом данной мне властью мы» — не я, а мы, — «мы, царь польский и князь финляндской и проча, и проча, и проча»...

— А вместо «проча» не писали «и тому подобное»? Терентий Петрович говорит, что можно «и тому подобное».

— Нет, не писали: писали «и проча». Да на что это тебе потребовалось? И все ему надо. На кой ляд тебе, как цари писали?

— Для истории, дедушка! — отвечает Петя, а сам ухмыляется.

— Ну, для истории — валяй!

В это время вошел Платонов и объявил мне о заседании правления.

— Опять?

— Опять, — махнул он рукой. — Пропали не спавши! Аж кружение в голове...

Одним сторожам только и покой ночью, не трогает пока.

Из хаты мы вышли вчетвером: Платонов и я — на заседание правления, Евсеич — на пост, сторожить, а Петя нырнул в калитку к прицепщику Терентию Петровичу (о котором речь впереди). Потом Петя появился в правлении, снова исчез и, наконец, смиренно уселся в уголке на полу. Когда мы шли на заседание, Платонов спросил Евсеича:

— Отнес?

— Сдал самому Ивану Иванычу и от себя добавил на словах.

Приходим в правление. Народ начинает помаленьку собираться. Усаживают. Однако избегают садиться на скамейки, а больше — вдоль стен на полу и даже между скамейками. Это для того, чтобы удобно было во время заседания поспать, свернувшись калачиком или привалившись головой к соседу. Докладов намечено чуть ли не десять и, кроме того, разбор заявлений, которые лежали перед Прохором Палычем, как стопка вчерашних блинцов, с обтрепанными и завернутыми краями. На столе председателя стоял колокольчик, снятый с дуги: для наведения порядка. На свадьбы Самоваров, правда, продолжал его давать и сам охотно там присутствовал, но чтобы на следующий день колокол снова был на месте.

Колокол оглушительно прозвонил, кто-то тихонько сказал: «Поехали!», а Прохор Палыч объявил:

— Расширенное заседание совместно с руксоставом колхоза «Новая жизнь» считаю открытым. По первому вопросу ведения слово предоставляется мне лично. Товарищи! Сегодня мы, собравшись здесь, заслушаем весь руксостав, рассмотрим весь колхоз. Вопрос один: укрепление колхоза и путь в передовые. В разных, могущих быть возникнутыми, — разбор заявлений. Порядок докладов продуман: первый — бригадир полеводческой бригады товарищ Платонов.

— Подвезло тебе, Яков Васильевич, — вздохнул Катков, — отчитался — и на сон, под лавку.

Прохор Палыч брякнул колоколом и продолжал перечислять порядок докладов:

— Завкладовой, птичница, телятница, все конюха, затем остальные бригады. Слово для доклада даю товарищу Платонову. Вам час дается.

— Не надо мне час.

— А сколько?

— Нисколько.

— Как так?

— Очень просто. Нечего мне говорить — вчера докладывал. Вы должны знать и так, без доклада.

— Я без тебя знаю, что я должен знать. И знаю все. Но порядок такой: в докладе должен сообщить, и внутрь глянуть, и вывернуть все на самокритику. Давай!

— Все у меня благополучно.

— А я говорю, докладывай! Не мне докладывай — народу! Вот они!

И Платонов скрепя сердце, нудно, не похоже на самого себя стал отчитывать, как дьячок. И голос-то у него сделался какой-то унылый, и речь несвязная, а все-таки говорил. Стоит ли перечислять то, о чем он говорил, и так надоело!

Прохор Палыч заставлял говорить одного докладчика за другим и думал: «Я их раскачаю! Заговорят, как миленькие, разовьются!»

Катков шепнул Пшеничкину:

— Тебе, Алеша, дать, что ли, поспать сегодня? Твой доклад в самой середине, беда тебе не спавши!

— Дай, пожалуйста, Митрофан Андреевич! Умру без сна — четвертые сутки!

— Часа на два могу, а больше дару вряд ли хватит, Алеша.

— И на том спасибо! Мне больше и не надо. Я, может, до полночи еще прихвачу немного.

И около двенадцати часов ночи, когда Прохор Палыч выкликнул фамилию Пшеничкина, тот безмятежно спал, свернувшись калачиком в углу, а около него сидел и бодрствовал Катков. Когда он услышал: слово «Пшеничкин», то встал и сказал:

— Мой доклад, Прохор Палыч, а не Пшеничкина, ошибочка произошла. И к тому же я приготовился.

Любил такие передовые выступления Прохор Палыч и поэтому сказал:

— А может, и ошибка, тут голова кругом пойдет. Давай!

И Митрофан Андреевич принялся «давать». Он рассказал о плане Волго-Дона, остановился на учении Вильямса, загнул о происхождении жизни на земле по двум гипотезам, коснулся трактора и описал все детали его по косточкам: лишь бы Алеша спал подольше. О работе своей бригады он почти ничего не говорил, но все, кто еще не успел заснуть, слушали его с удовольствием, а многие даже проснулись. Алеша спал сном праведника до двух часов ночи. Наконец Катков закончил:

— И так, на основе мичуринского учения, моя бригада и работает. Все!

— Весь выказался? — спросил Прохор Палыч.

— Могу и еще, но устал, — ответил докладчик и с сожалением посмотрел на кудри Алеши Пшеничкина, раскинувшиеся на полу.

— Следующий!

Уже перед рассветом, когда загорланили по всему селу третьи петухи, приступили к разбору заявлений. Прохор Палыч обратился к бодрствующим:

— Будите! Начинаем заявления.

— Да какие же заявления? Рассветает!

— Хоть десяток, а разберем. Будите!

Народ зашевелился, закашлял, закурил, раздались сонные, но шуточные голоса:

— Вставай, Архип, петух охрип! Белый свет в окне, туши электричество!

— Аль кочета пропели? Скажи, пожалуйста, как ночь хорошо прошла! Можно привыкнуть спать вверх ногами.

— Завтра работаем, ребятки, спросонья!

— Не завтра, а сегодня.

Рывкнул колокол. Прохор Палыч объявил:

— Первое заявление разберем от Матрены Чуркиной. Просит подводу — отвезти телушку в ветлечебницу. Читай подробно! — обратился он к счетоводу.

— Чего там читать! — сказал спросонья Катков (он тоже чуть-чуть прикорнул перед светом). — Чего читать? Телушка месяц как скончалась.

— Как это так? — спросил председатель, синий от бессонницы.

— Да так — подохла. Покончилась — и все! Не дождалась.

— Как так скончалась? Заявление подала, а померла... То есть того... Зачем тогда и заявление подавать?

— Не Матрена, а телушка, — вмешался Пшеничкин. Но Прохор Палыч смутно понял, что в результате ночных бдений у него вроде все перепуталось.

— Ясно, телушка, — продолжал он поправляясь. — Товарищи! Телушка до тех пор телушка, пока она телушка, но как только она перестает быть телушкой — она уже не телушка, а прах, воспоминание. Товарищи! Поскольку телушка по-

кончилась без намерения скоропостижной смертью, предлагаю выразить Матрене Чуркиной соболезнование в письменной форме: так и так — сочувствуем...

Алеша Пшеничкин не выдержал и крикнул:

— К чертям! Матрене телушку надо дать из колхоза: беда постигла, а коровы нет!

— Сочувствую! Поддерживаю, — ответил Прохор Палыч, — но без санкции товарища Недошлепкина не могу.

— Всегда так делали, всю жизнь помогали колхозникам в беде! — горячился Алеша. У него, и правда, почти вся жизнь прошла в колхозе. — Всегда так делали, а при вас — нельзя. Жаловаться будем в райком!

— Жаловаться в райком! — повторил Катков.

— Жаловаться в райком! — поддержал Платонов.

— Жаловаться в райком! — крикнули сразу все, сколько было. Прохор Палыч громко зазвонил колоколом, восстановил порядок и спокойно сказал:

— Жалуйтесь! Попадет жалоба первым делом товарищу Недошлепкину, а я скажу ему: «Вашей санкции на телушку не имел». Все! Этим меня не возьмешь! Давай следующее заявление! Читай! — скомандовал он счетоводу.

Степан Петрович взял заявление из пачки, надел очки на кончик носа и приспособился было читать, но вдруг прыснул со смеху, как мальчишка, и сказал:

— Извиняюсь, нельзя читать! Невозможно, Прохор Палыч. Сначала сами прочитайте! Обязательно! Здесь для вас одного написано...

— Приказываю: читай!

И Прохор Палыч откинулся на спинку кресла, а от досады и на телушку, и на бригадиров, и на всех сидящих здесь решил про себя: «И слушать не буду: пусть сами разбирают! Посмотрим, как без руководства пойдет заседание: раскричатся, да еще и передерутся. Не буду и слушать!» И правда, он сперва не вслушивался, а счетовод — шестнадцать председателей пережил — не стал возражать и читал:

— «Ко всему колхозу!

Мы, Прохор семнадцатый, король жестянщиков, принц телячий, граф курячий и прочая, и прочая, и прочая, богом данной мне властью растранижирили кладовую в следующем количестве: «ко-ко» — две тысячи, «бе-бе» — десять головодней, «хрю-хрю» — четыре свинорыла. И еще молимся, чтобы без крытого тока хлеб наш насущный погноить! И призываю вас, аккурат всех, помогать мне в моих делах на рукаботе в рукоставе! Кто перечит — из того дух вон! И тому подобно, подобно, подобно...»

— Сто-о-ой! — возопил Прохор Палыч.

Колокол звонил. Народ встал на ноги и надевал шапки в великом недоумении от королевского послания. Только Петя Федотов сидел в уголке смиренненько и, ничуть не улыбаясь, смотрел на происходящее.

— Что случилось? — спрашивали проснувшиеся.

— Где горит? — вскрикнул кто-то.

Прохор Палыч рванул бумажку из рук счетовода.

— Кто подписал? Дайте мне врага колхозного строя!

— Вы, вы... сами подписали! Ваша личная подпись стоит, — с напускным испугом говорил Степан Петрович. — Я же вам говорил, я предупреждал, я вас просил, но вы приказали. У вас же характер такой: сказал — крышка! Надумал — аминь!

Председатель остолбенел. Да и как было не остолбенеть? На послании «Ко всему колхозу» стояла его собственная подпись. Никто не мог бы скопировать извивающуюся змею вместо начального инициала «П», невозможно подделать семь колец буквы «С», а дальше — девять виньеток с двумя птичками и вокруг фамилии овал с прихвостьем ровно в тринадцать завитков. Ни один мошенник

на может подделать подобной подписи или даже расшифровать ее — это невозможно! Подписал он где-то на ходу, не глядя. Но кто, кто мог подсунуть? Где этот — тот самый, которого надо раздавить? Прохор Палыч махнул рукой, чтобы все уходило.

...Деятельность Прохора Палыча в колхозе продолжалась четыре месяца. Заседание, описанное выше, было в начале пятого месяца.

В понедельник утром Прохор Палыч собрался ехать в район с крамольным посланием, доказать, что ветер дует от бригадиров, разъяснить, что ему никто не помогает, а все идут на подрыв, и снять после этого всех троих сразу. Но вспомнил: понедельник — день тяжелый, и отложил. Во вторник поехал — кошка перебежала дорогу.

«Чертова живность! Чтоб тебе пусто было! Еще попа недоставало... Этот если перешел дорогу — то все, вертайся назад! Не первый год, знаю...»

Кошка испортила все настроение, а оно и так в последние дни стояло на отвратительно низком уровне. Ехал он сумрачный, мыслей никаких не было, и в голове ничего не мелькало, кроме одной кошки.

И, странное дело, въехал Прохор Палыч в город, будто в чужой, а не в тот, что был много лет родным гнездом, где он многие организации и учреждения укреплял и где оставил по себе память на долгие годы.

Приехал и пошел прямо к Недошлепкину, чтобы с ним уже идти к секретарю райкома. И снова не повезло — чертова кошка! — Недошлепкина не было. Кабинет закрыт, а секретарь райисполкома говорит:

— Не знаю, где. Второй день нету.

Не ехать же обратно — пошел один. Входит он в кабинет секретаря райкома, Ивана Ивановича Попова. Тот его встречает:

— А-а!

А Прохор Палыч и не знает, как понимать это «а-а!» Никогда такого разговора не было. Вынул платок, высморкался. Этому я сам был свидетелем, сидел в кабинете рядом с Петром Кузьмичом Шуровым, с которым я читателя уже познакомил раньше. Но Прохор Палыч не знал Петра Кузьмича и думал: «Свистун какой-то, никакого руководящего виду».

Достаёт Прохор Палыч «послание» и кладет на стол. Иван Иванович берется читать и... как захохочет! Хохочет, как мальчишка, снял пенсне и вытирает слезы, аж подпрыгнул в кресле и за живот хватается обеими руками. Прохору Палычу показалось, что секретарь рехнулся умом или, во всяком случае, тронулся мозгами. Не может же так смеяться действительный секретарь райкома! Настоящий секретарь обязан смеяться так: «ха!» и подумать, «ха!» и еще раз подумать. А этот заливается слезным хохотом.

— И подпись-то, подпись-то ваша, — почти умирая, хохочет Иван Иванович.

И Петр Кузьмич хохочет. Закрыв глаза, одной рукой за русые волосы ухватился, а другой отмахивается, будто от мухи, и трясется весь от хохота.

«Бьет смех, как припадочного!» — подумал Прохор Палыч и ничего — абсолютно ничего, ну ни единого нуля! — не понял из происходящего.

Отсмеялись. Пьет воду Иван Иванович и передает стакан Петру Кузьмичу. Напились. Отошел Иван Иванович к окну и смотрит в сад, помрачнел как-то сразу и спрашивает, не глядя на Самоварова:

— С этим и пришел?

— Да. Один подрыв. Никто не помогает — один, как свечка, кругом. Все сам! Чего сам не сделаешь, того никто не сделает. Мошенники и жулики все, особенно бригадиры: снимать надо. Согласовать пришел.

А Иван Иванович будто и не слушает. Сел в кресло, смотрит в середину стола и говорит:

— Что мы наделали? Четыре месяца прошло!.. Ведь вы, Самоваров, что наворочали!.. Молокопоставки просто угробили, поставки шерсти сорвали, контрактацию молодняка проворонили. На носу уборка, а у вас в двух бригадах нет крытых токов, погноите хлеб! Людей с ферм разогнали. Замучили всех ночными заседаниями. Ведь это еще благо, что там золотые бригадиры, — хоть в поле-то все благополучно, в чем вы, кажется, неповинны... Эх! Нам колхозники доверяют, а мы? Кого поставили, кого рекомендовали!

Прохор Палыч по своему опыту понял, что наступил момент признавать.

— Признаю! Тяжко мне сознавать всю вину! Допустил ошибку, большую ошибку! И она — вот где у меня! — Он стукнул трижды кулаком по груди, трижды выморгался, поспеел, вытер сухие глаза и уже тихо произнес согласно надлежащему в этом случае правилу: — Признаю и каюсь!

А Иван Иванович говорит:

— Да не ваша ошибка, чучело вы этакое! Наша, моя лично! — Прохор Палыч встал и, расставив руки с растопыренными пальцами над галифе, попятился назад в полном недоумении.

— Что, не понимаете? — спрашивает секретарь. Прохор Палыч мотает головой.

— Тогда и о вашей ошибке скажу. Вот у меня коллективное заявление бригадиров и многих колхозников, просят немедленно созвать общее собрание, пишут о вашем самодурстве. Собрание проведем завтра.

Прохор Палыч снова сел и, кажется, начал кое-что понимать.

— Но это не все, — продолжал секретарь. — Вот акт о незаконном «ко-ко» и «бе-бе» на три тысячи рубликов, здесь и Недошлепкину начислили около тысячки. Вы даже и акт отказались подписать, Самоваров... Такие-то дела!

Прохор Палыч действительно прогнал какого-то щуплого бухгалтеришку, который все совал ему какой-то акт, но что это за акт, ей-богу, не знает и не помнит. А оно — вот что! И он сидел, тучный, широкий, но непонимающий, опустошенный внутри. Внутри ничего не было!

Иван Иванович продолжал:

— Будем рекомендовать товарища Шурова — агронома!

Прохор Палыч встрепенулся. Он будто опомнился, будто живая струя просочилась внутрь.

— Как? Агроном — председатель? — И вся его фигура говорила: «Мошенника, химика и астронома — в председатели?»

— Да, — ответил секретарь, а Шуров улыбнулся. — О вас же, Самоваров, будем решать вопрос на бюро, что дальше делать. Хорошего не предвижу.

Так бесславно кончилась деятельность Прохора Палыча в колхозе. Не буду описывать, как проходило общее собрание. Каждый знает, как выгоняют колхозники негодных руководителей — наваливаются все сразу и без удержу отхлестывают и в хвост, и в гриву, отхлестывают и приговаривают: «Не ходи куда не надо! Не ходи!»

Стал Прохор Палыч нелюдим и задумчив: что-то такое в нем зашевелилось внутри и ворочалось, ворочалось все больше. Удивлялись люди: смиренный стал, тихий.

Был суд.

Прохору Палычу дали год исправительно-трудовых работ.

Видел я его еще раз, незадолго до суда, в закускойной. Он сидел за столом с Недошлепкиным, и оба были в среднем подпитии. Лицо Прохора Палыча осунулось, он похудел, глаза стали больше, нос — меньше; одет в простую синюю, в полоску, сатиновую рубашку. Его собеседник был все в той же форме «рукостава» — в черной суконной гимнастерке с широким кожаным поясом, в тех же огромных роговых очках, — такой же, как и был.

— Ну, тебя-то, — говорил Недошлепкин, — волей-неволей надо было снимать — с сельским хозяйством не знаком. Я это предвидел. А за что сняли меня? За что прогнали из партии? За что оклеветали?

Прохор Палыч медленно встал, смотря в одну точку. Глаза его были влажными и красными. Вдруг он сжал зубы, стукнул кулаком по столу так, что задребезжали стаканы, и вскрикнул:

— Убил бы!

Недошлепкин отпрянул всем корпусом, будто от удара в лоб, очки спрыгнули на самый кончик носа, на лысине выступил капельками пот, губы что-то зажевали, он поднял ладонь над головой, будто защищаясь, и прохрипел:

— Кого?

— Себя! Ошибку в колхозе допустил: не туда руль повернул. Каюсь, — заныл он по привычке и склонил голову на грудь. Так Прохор Палыч постоял немного, затем извлек из кармана клетчатый носовой платок и высморкался.

